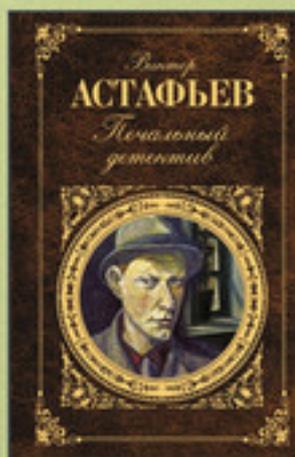


Виктор Астафьев

Тельняшка с Тихого океана



Часть сборника
Печальный детектив (сборник)



Виктор Астафьев
Тельняшка с Тихого океана

«ЭКСМО»

1984

Астафьев В. П.

Тельняшка с Тихого океана / В. П. Астафьев — «Эксмо», 1984

ISBN 978-5-457-09839-8

«Молодой мой друг! Ты, наверное, выбираешь сейчас трал с рыбой, стиснутой, зажатой в его неумолимо-тугом кошеле, которая так и не поняла и никогда уж не поймет: зачем и за что ее так-то? Гуляла по вольному океану вольно, резвилась, плодилась, спасалась от хищников, питалась водяной пылью под названием планктон, и вот на тебе, загребли, смяли, рассыпали по ящикам, и еще живую, трепещущую посыпали солью...»

ISBN 978-5-457-09839-8

© Астафьев В. П., 1984

© Эксмо, 1984

Виктор Астафьев

Тельняшка с Тихого океана

Александру Михайлову

Молодой мой друг!

Ты, наверное, выбираешь сейчас трал с рыбой, стиснутой, зажатой в его неумолимо-тугом кошеле, которая так и не поняла и никогда уж не поймет: зачем и за что ее так-то? Гуляла по вольному океану вольно, резвилась, плодилась, спасалась от хищников, питалась водяной пылью под названием планктон, и вот на тебе, загребли, смяли, рассыпали по ящикам, и еще живую, трепещущую посыпали солью...

Я все чаще и чаще на старости лет думаю о назначении нашем, иначе и проще говоря – о житухе нашей на земле, которую мы со всеми на то основаниями, для себя, назвали грешной. Грешники иначе и не могут! Сажай и дерьмом вымазанный человек непременно захочет испачкать все вокруг – таков не закон, такой его, человека, норы или неизлечимый недуг, название которому – зло.

И вот думал я думал, и о тебе тоже, губящем самое неразумное, самое доверчивое из всего, что есть живого на земле и в воде, и пришел к такому простому и, поди-ка, только по моим мозгам шарахнувшему выводу: а ведь неразумные-то, с нашей точки зрения, существа, как жили тысячи лет назад, так и живут, едят траву, листья, собирают нектар с цветов и планктон в воде, дерутся и совокупаются для продления рода, в большинстве своем только раз в году. Та же рыбка прошла миллионнолетний путь, чтоб выжить, выявить вид свой, и те, кому, как говорится, не сулил Бог жизни, умирали от неизвестных нам болезней или, употребляя любимые тобой «ученые» выражения, – от катаклизмов. Они пришли к нам по суше и по воде уже вполне здоровыми, приспособленными к той среде, какую выбрали себе для своего существования.

И не нам, самодовольным гражданам земли, жуящим мясо, пьющим кровь, пожирающим красивые растения, подкапывающим корни, из ружей сбивающим на лету и во время свадебного токования вольных птиц, невинных животных, да еще и младенцев ихних, да хотя бы и ту же рыбу, не нам, губящим самих себя и свое существование поставивших под сомнение, высокомерно судить «окружение» наше за примитивную, как нам кажется, жизнь и отсутствие мысли. Одно я знаю теперь твердо: они, животные, рыбы и растения, кого мы жрем и губим с презрением за их «неразумность», – без нас просуществовали бы на земле без страха за свое будущее, а вот мы без них не сможем.

Но, быть может, ты уже со своей бригадой вытряхнул из трала добычу, равнодушно присолил ее, стаскал в трюмы и лежишь на своей коечке-качалочке, убитый сном иль перемогая нитье в поясице и натруженных руках, думаешь о своей повести и проклинаешь меня: была ведь повесть-то одобрена в журнале «Дальний Восток», ее давно бы напечатали в Хабаровске и, знаю я, похвалили бы за «достоверность материала», за «суровое, неприукрашенное изображение труда рыбаков», даже и прототипа одного или двух, глядишь, угадали, и в Москве переиздали бы книжку...

Эвон как хорошо все началось-то! Дуй смело вторую повесть, протаривай путь к третьей, вступай в члены союза, высаживайся на берег и живи себе спокойно, пописывай, плоди и плодись. Отчего-то ваш брат с беспокойного-то места, под названием МОРЕ, мечтает о покое, а наш брат, сидящий на безмятежном берегу, все «ищет бури, как будто в бурях есть покой»?!

Значит, ты уж совсем было достиг желанного, покойного берега, и тут меня черти подсунули. Они, они, клятые. Они и горами качают, они и судьбами нашими играют, мухлюя

нагло, как Ноздрев при сражении в шашки. Бог себе такого позволить не может, Бог – он добрый, степенный, ходит босиком по облакам, Он высоко и далеко, Его не видно и не слышно. А враг-искуситель всегда рядом. Я вот пошевелил босой ногой под столом, он за пятку меня хватя! «Пиши, – похихикивает, – пиши! Посеял парню смуту в сердце, расшевелил в нем творческий зуд, теперь вот еще и посоли, живого, как он только что селедку или хилую рыбешку, под названием килька, присолил...» Впрочем, килька – это не у вас, это вроде уж на Каспийском море, да и той, говорят, скоро не станет, гоняются за нею всем касрыбкилька-холодфлотом, дочерпывают – много за той махонькой рыбкой народу спасается и кормится, есть которые с отдельными катерами – для прогулок, с дачами в гирле Волги, где лотосы цветут, с дежурной машиной у подъезда.

Да-а, а рыбка-то плавает по дну...

Ты клянeshь меня или нет? По последнему письму видно – сдерживаeshься изo всех сил, чтоб печатно не обляять. А мне хоб что! Я вот за письменным столом, в тепле сижу, за окном морозное солнце светит, крошатся в стеклах лучи его, на тополе ворона от мороза нахохлилась, смотрит на меня, как древний монах, с мрачной мудростью: «Все пишeshь?! Людей смущаeshь? Читал бы лучше. Книг вон сколько хороших написано, да «не сделали пользы пером, дураков не убавим в России, а на умных тоску наведем». Накрошил бы лучше хлеба в кормушку синичкам, я бы его у них отняла и съела. Вот тебе и матерьял для размышлений о противоречиях мироздания...»

А пишу-то я тебе не с бухты-барахты, не для того, чтобы развеять твою скучную жизнь в пустынном океане. Ты хоть помнишь, как мы познакомились? Непременно надо вспомнить, иначе все мое письмо к тебе будет непонятным, да и ненужным.

Вот уж воистину не было бы счастья, да несчастье помогло! Погода, точнее, отсутствие таковой заклонила движение в отдаленном восточном порту. Народу, как всегда, скопище, еда и вода кончились, нужники работают с перегрузкой и один уже вышел из строя; всякое начальство и даже милиция с глаз исчезли – такое уж свойство у нашей обслуги: как все ладно и хорошо – делать хорошее еще лучше, как плохо – улизнуть от греха подальше, все одно не поправить...

Я стоял среди унылого, истомившегося народа, опершись на «предмет симуляции» – так я называю палку с набалдашником, выданную мне еще в сорок четвертом году в арзамаском госпитале и суеверно мною берегомую, – износил уже, истерзал, разбил девять протезов, но палка все та же. От времени, от моей руки, моего тепла и пота она почернела. Вспомнился мне вот, в связи с палкой, чиновничек-международник. В Дом творчества писателей он затесался «для разнообразия», решил выдать миру книгу на международную тему. Этакий типичный пижон современности, изнывающий в нашем бедном Доме с порванным на миллиарде сукном, со скользким от растоптанной селедки полом в комнате, с убогой библиотекой и по-иностранным хрипящей кинопередвижкой. Пожаловал он в писательское сообщество со своим кием в чехольчике из змеиной кожи, со «своей» девочкой из института иностранных языков, со своим коньяком и рюмкой, надетой вроде колпака на черную бутылку. Ясновельможная личность отчего-то обратила внимание на мою инвалидную палку и заключила, что она из экзотического заморского дерева. «Да-да, из дерева, арзамасского», – подтвердил я, и поскольку дитя, выросшее на ниве рабоче-крестьянского государства, не знало и не знает, где находится Арзамас, оно, красиво вскинув модно стриженную голову и многоумно закатив глаза, начало мыслить: «Постойте, постойте! Это не из Бисау ли?» – «Да-да, Арзамас как раз на правом берегу Теши, супротив этого самого Бисау располагается».

Давно собирался написать я рассказ о своей палке, да вот не о ней, о тельняшке, которую ты мне подарил, припела пора поведать миру. «О чем писать, на то не наша воля», – сказал один хороший поэт. Для нас, много литературной каши исхлебавших, сказал, но не

для графоманов. Те пишут запросто, хоть про Демона-искусителя, хоть про Делона-артиста, хоть про жизнь Распутина (не Валентина, слава Богу, а Григория), хоть про дореволюционную политическую ссылку, хоть про современных мещан, морально разлагающихся на дачах.

Итак, значит, я стоял, налегши на здоровую, но уже онемелую, горящую от натуги ногу, в то время когда ты мирно спал, доверчиво навалившись на плечо, как позднее выяснилось, совершенно незнакомой девушке, сронившей шапку-финку к ногам, во сне растрепанной, некрасиво открывшей рот от духоты. От моего ли взгляда, но скорее по другой причине ты проснулся, обвел мутным взглядом публику и вокзал с отпотевшими от дыхания и спертого воздуха стеклами, с волдырями капель на потолке, под которым деловито чирикали и роняли вниз серый помет ко всем и везде одинаково дружелюбные воробьи.

Ты уже хотел передернуть плечами, потянуться, молодецки расправиться, как обнаружил, что к тебе родственно приникла девушка, довольно-таки стильно одетая, осторожно отстранился, прислонил ее к стене, поднял шапку-финку, хлопнул о колено, насунул соседке почти на нос, поискал что-то глазами и сразу увидел искомое, меня стало быть. «Посиди, дядхан, – буркнул, – на моем месте, я в уборную схожу». Назвав тебя в благодарность племянничком, я со стоном облегчения опустился на низкую отопительную батарею, сверху прикрытую отполированной доской. Для красоты, надо понимать.

Ты вернулся, остановился против меня и долго ничего не говорил.

– Ну как же нам быть? – буркнул наконец, глядя в сторону.

– Ведь ты моряк, братишка, я – бывший пехотинец, все мы простые советские люди, и жить, стало быть, нам надобно по-братски: ты посидел и поспал, теперь я посижу и посплю.

– Тебе ж ногу оттопчут.

– О ноге не беспокойся, новую выдадут, в казенном месте и за счет казны. У этой нонче как раз срок выходит... Ширинку бы застегнул, братишка! Не ровен час, скворец улетит, або девки у него с чириканьем крылья оторвут...

– Ой! – прихлопнул ты «скворечню» и, отвернувшись, задергал застежку, цедя сквозь зубы: – Напридумывали эти «молнии».

В этом вот смущенном «ой!» и в том, что ты клял цивилизацию, заменившую пуговицы на механизм, было много родственного. Не раз и не два шествовал я в новомодных брюках в общественных местах с раздернутой «молнией», не один позор нравственного порядка пережил, поминая добрым тихим словом старушку-пуговицу. Бывало, пройдешься, как по баяну, – музыка, лад, и все на месте. Цивилизация, стремительно овладевая нами, не отпускает времени на привыкание к ней.

Проснулась и девица, пощупала шапку, вбила под нее волосы, еще чего-то поправила и уставилась на тебя: «Эй, моряк, ты слишком долго плавал?» – «Слишком». – «Значит, знаешь, где тут туалет?» – «Знаю. Но работает лишь мужской. Дамы бегают по клумбам и в кусты...» – «Хорошо, хоть кустарники не погибли при таком обильном увлажнении», – зевнула девушка и приказала тебе караулить место. Под задом соседки, на доске обнаружился во всю ширь раскрытый последний выпуск «Роман-газеты» с моим произведением. Ты сел на место девушки и начал неохотно листать «Роман-газету». У меня не было сил даже на ужас, что охватывает меня всякий раз, когда я вижу при мне читаемые мои шедевры. Случалось это всего раза четыре за жизнь.

Еще «в начале моего творческого пути» увидел я однажды, как читали мою книжку в электричке, и сразу со страху меня прошиб пот, объяло меня чувство казнимого старым способом еретика, под задом вроде бы затлели угли, и, чтоб их не раздуло в пламень, перешел я, от греха подальше, в другой вагон. И потом при встречах со своими творениями бывали у меня возможности вовремя смыться. Но однажды попал так попал! В самолете сидит сбоку

тетка и, как ни в чем не бывало, почитывает мою книжку. Я их, свои книжки, узнаю сразу оттого, что на обложке каждой рисуют мне художники лесину, чаще всего ель, поскольку родился я в таежном краю. По ели, значит, и ориентируюсь в книжной тайге. Из самолета не выпрыгнешь! Свободных мест нигде нету, тетка, как на грех, глазастая да интеллектуальная оказалась: шасть ко мне с французским изящным карандашиком: «Ой, простите, пожалуйста, автографик...» Я чего-то пытался сказать и написать шутовское, народ ближний начал озираться, перешептываться. Какие уж тут шутки! А, Боже милостивый! Недаром же до слез, до рыданий люблю я романс Гурилева «Вам не понять моей печали...», как и этого моего душевного смятения не понять никому. Моя книга в чужих руках, «на свету», кажется мне до жути глупой, неумелой, постыдной. Читали бы Толстого, Пушкина, Достоевского, Бунина... За что же меня-то?!

Но тогда, на аэровокзале, повторяю, у меня уже не было сил ни на какие эмоции. Поспал я недолго и тяжело. В вокзале еще больше скопилось народу, еще гуще сделался в нем воздух, он превратился в клей, в вазелин, в солидол или во что-то еще такое, чем смазывают железные части и механизмы, защищая их от ржавчины, от излишнего трения. И я был весь в клейком мазуте, сердце мое дергалось в горле, руки дрожали, один лишь протез, защищенный с двух сторон – портфелем и чемоданом, лежал на полу недвижно и отчужденно. Задравшиеся штаны оголили на нем две пластинки из нержавеющей стали. Я достал штанину палкой и натренированно накрыл гачей протез.

Вы оба с настороженным любопытством смотрели на меня. Я догадался, в чем дело, и, когда девушка сунула мне «Роман-газету» под нос, показывая на мою давнюю, огалстученную фотографию, спросила: «Это – вы?!» – я отстранил руку с книжкой.

– Я! Я! Не похож? Старею!

– Ну вот, а ты спорила!.. – подавленно, почти разбито выдохнул ты и вдруг резко, с одного поворота: – Сейчас я пойду! Сейчас я им скажу! Над писателем... Над инвалидом войны глумиться!..

– Да кто глумится-то? – поднимаясь, сказал я буднично. – Господь Бог? Это Он нелетную погоду сотворил. И при чем тут писатель, инвалид? Все люди, все человеки, и инвалидов на вокзале небось десятки собралось... Раз моряк, покажи-ка лучше где-нибудь воду какою-нибудь.

– Как вы так можете? Вам же тяжело...

– А кому, братишка, легко? Бывало и тяжелее... Не бери в голову, как говорят нынче.

Когда мы попили из горного ручья сладкой, голубой в пузырьках воды, умылись, отдышались и я, посмотрев на полыхающие осенним, ярким пожарищем клены, на красной лавой облитые хребты, на засиневшее за ними дальше и выше безгрешно-чистое небо в кружевной прошиве по краям, выдохнул: «Хорошо-то как! – и, обернувшись к тебе, сказал: – Вот как мало надо человеку для счастья!..» – ты все это тоже обвел взглядом: склоны, горы, небо и угрюмо предложил: «Я позову ту мадаму и перенесу манатки, ладно?»

Ах, какой это был день! Упоительный, правда? И хорошо, что не сразу, не вдруг ты мне признался, что пытаешься заниматься этим проклятым и самым, в моем рассуждении, захватывающим делом – литературой. Хорошо, что была девушка по имени Люда, такая потом умытая, свеженькая, рыженькая, глаза в солдатскую ложку, и как закатит их в бок – яркая, аж слепит, фарфорная бель с блеском. Лицо вытянутое, недозавершенное вроде бы, но вот в этой-то недозавершенности вся и прелесть, полюбишь – и завершай, воображай, дописывай, лепи – есть место для работы и уму, и сердцу. Признаюсь тебе: мне всегда такие вот, вроде бы неладные и нескладные, не вовсе, не до конца сложенные лица нравились нестандартностью своей. Круглолицые красотки со вздернутыми носиками и аленьким, пухлым ртом – мечта и вождение советского офицера да директора трикотажной фабрики – не по мне.

Быть может, воображение сделало мой вкус изощренней, точнее – испорченней. Но может статься, и оттого, что до офицера я так и не дорос, остался на веки вечные чину неблагодарного и во все времена презренного – рядовым.

Потому и «красотки» не по чину мне, потому и выдумываю, доделываю лица, отгадываю души смятенные, тайные, порой, и чаще всего, тайные только для меня. Любовь – это творчество. Всегда творчество. Мы любим в других то, чего нет в нас, если нет этого и в других – выдумываем, внедряем, делаем людей лучше, чем они есть на самом деле. Увы, женщинам, сотворенным нами и с помощью нашей, начинает казаться, и не так уж редко, что они и были всегда такими, совершенными, и не понимают, что любящая душа отдала ей все, что имела, опустошившись при этом, не обогатившись ответно. Обогащение души одной другою, переливание крови из сердца в сердце – редкое явление, и потому так часто и быстро истощается, иссякает энергия великого и пресветлого чувства. Говорят, хотя и старомодно, но точно: сердце ее (или его) сгорело от любви.

И вот, значит, я тогда маленько, чуть-чуть подзаял тепла у молодого девичьего сердца, но оно так горячо и сильно, что девушка не заметила «утечки», она просто чувствовала, что нравится, и ей нравилось нравиться. Ты почему-то не влюбился в Людочку? Видно, женщины идут у тебя по морской классификации.

И я, знающий уж вроде бы пишущую братию, не вдруг догадался, отчего интерес твой возрастал не к девушке, а ко мне, и, по мере того как распогоживалось небо и все чаще и чаще гудели аэропланы над головой, делался ко мне внимательней.

Повторяю: это был чудесный день в моей жизни, день яркой дальневосточной осени, который, поверь мне, много свету повидавшему, сравнивать не с чем. Люда была весела, категорично-хозяйственна и говорлива. Ей прескучило общество учителей поселковой средней школы, все люди казались девушке значительными, содержательными, и мы тоже. Она много читала, даже что-то спела. И знаешь отчего? Да просто Людочке не с кем было поделиться тем богатством, которое она приобрела не очень-то легким трудом. Просто так ей давался лишь некий налет иронии и переутомленности интеллектом. Но на «этом уровне» сейчас работают многие молодые люди, однако она-то, самая видать интеллектуальная учительша в своей школе, этого не знала.

Ах ты, Боже ты мой, как, омывшись в ручье и с моего позволения оставшись в самом последнем прикрытии тела – закаленная, свободная, смелая! – в купальнике цвета неба с косыми белыми полосками на груди, коим надлежало изображать волну, и волна еще получалась на гибком ее теле, хорошо развитом, – как она, взобравшись на камень, из расщелины которого рос клен детсадовского возраста, обвешанный праздничными флажками, лопушистый, доверчивый, и, поглаживая его, будто родное, долгожданное дитя, вскинув руку, кричала, вот именно кричала, звонко и страстно: «Лесом мы шли по тропинке единственной в поздний и сумрачный час. Я посмотрел: запад с дрожью таинственной. Гас. Что-то хотелось сказать на прощание – сердца не понял никто; что же сказать про его обмирание? Что? Думы ли реют, тревожно несвязные, плачет ли сердце в груди, – скоро повысыплют звезды алмазные. Жди!»

Девочка, девочка! Как она хотела в ту минуту, чтобы ее любили, чтоб нашелся кто-то, кто увидел бы, как она прекрасна, умна, целомудренна и какой восторг жизни раздирает ее грудь...

Не знаю чем, но с молодости, с бедной моей, инвалидной молодости я каким-то образом вселял бесовство в девушек, всегда они при мне хотели выглядеть способными на высокое чувство и всепрощение. А ведь я ничего не делал для этого, просто внимательно слушал, смотрел на них без мужского высокомерия, иногда у меня навертывались слезы на глаза от жалости к себе, они думали – к ним, словом, какое-то во мне «демонское стреляние» угадывали. Наверное, это и есть мой единственный талант, «тайна его», высокопарно говоря.

Но бывало и так, что бабы и девки, потерянные, грязные, запущенные, говорили, даже кричали, о том, что ненавидят меня. Я и тут их понимаю. Я многое начал понимать, мой молодой друг, а это всегда опасно. Писателю надо больше чувствовать, но понимать необязательно, его понимание равносильно убийственному: «Музыку я разъял, как труп», но людям-то не труп нужен, музыка, тайна нужна, и хорошо бы хоть немножко жутковатая.

Полагаю, что как раз вот этого – тайны или предчувствия ее – и недостает не только твоей повести, но и всем произведениям твоих сверстников, в особенности современной лирике. Вы часто пишете по поводу любовных дел, раздеваете ее, любовь-то, уподобляясь современным киношникам, которые простодушно объясняют, что убивают в кино не нас-о-всем, страдают и любят понарошке, дома и подсолнухи нарисованы на картоне. Результат такой работы уже есть – они потеряли зрителя. Любовь, в особенности таинство ее, надо пытаться отгадывать с читателем вместе, и страдать, и болеть вместе с ним, и мучиться, но вот мучиться-то по отдельности вечной мукой, до конца не отгадавши, опять не отгадавши вечную тайну. Отравно-сладкая мука любви – самая высокая награда человеку, всегда нуждающемуся в наряде, в празднике, в украшении его жизни, деяний, мыслей, чувств, бытия его. «Нет мгновений кратких и напрасных – доверяйся сердцу и глазам. В этот час там тихо светит праздник, слава Богу, неподвластный нам» – это стонет и восторгается наш современник. А вот послушай-ка древнего поэта: «И мира нет – и нет нигде врагов; страшусь – надеюсь, стыну – и пылаю, в пыли влачусь – и в небесах витаю, всем в мире чужд – и мир обнять готов. У ней в плену, неволи я не знаю; мной не хотят владеть, а гнет суров; амур не губит и не рвет оков; а жизни нет конца, и мукам – краю. Я зряч – без глаз; нем – вопли испускаю; я жажду гибели – спасти молю; себе постыл – и всех других люблю; страданьем жив, со смехом я – рыдаю; и смерть, и жизнь – с тоскою прокляты; и этому виной – о Донна, ты!» – а это исторгнуто из могучего сердца, по-могучему и страдавшего великим чувством более шестисот лет назад. Крестьянский сын, окопный солдат, вернувшись с фронта, я рыдал над этими строчками, ничего в них не понимая, но за что-то боясь, чем вбивал в панику любимую сестру, которая думала, что я натер протезом ногу и ноге больно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.